

говорить». (Это уже перекликается с его знаменитым послевоенным утверждением, что «мир спасут немногие»). Подчас он просто пишет, что «итти против судьбы не надо» и что лучше «не ронять рук о решетку клетки» (1940). Но такие моменты чрезвычайно редки.

Можно себе представить, с какой радостью коммунистическая и советская пресса накинута на эти высказывания, когда Жид смело опубликовал эту часть дневника в 1944 г. Они утверждали, что у Жида атрофировано всякое патриотическое чувство, что он подобострастно восхищается гениальностью Гитлера в момент величайшего несчастья родины, что «жизнью и творчеством Жида стоило бы заниматься не столько исследователю, сколько следователю» (Нов. Мир, 1948). Они утверждали, что «почтенный предатель» Жид в 75-летнем возрасте начал поспешно изучать немецкий язык, чтобы стать хорошим коллаборантом. Последнее утверждение особенно забавно и особенно хорошо рисует невежество советских критиков. Они, очевидно, совершенно превратно поняли скромное упоминание Жида в дневнике, что он делает успехи в немецком языке и выписывает слова, читая «Лотту в Веймаре» Томаса Манна. Этим полунинтеллигентам трудно понять, что язык учится иногда всю жизнь, и что в два - три года выучить его невозможно. Кроме того, они упустили тот факт, что Жид говорил и читал по-немецки уже в школьном возрасте, и что он, наряду с папой Пием XII-ым, считается лучшим из современных иностранных специалистов по Гете.

В предисловии к последней части «Дневника» Жид замечает: «Я не выставлял себя более мужественным, чем я был: только в марте 41-го года я начал поднимать голову». Здесь уместно будет поправить самого Жида и указать, что он «начал поднимать голову» гораздо раньше, если судить по его дневнику. Уже в 1940 г. он находит, что Гитлер допустил ошибку и сам вызвал «резистанс», что в сопротивлении «патриотическое чувство окрепнет, как крепнет любовь в несчастье», и что «Франция далеко не так пала, как он вначале боялся». Неплохо также заметить, что как раз в это время, после советско - немецкого пакта, коммунисты сами находились на гораздо менее патриотических позициях, чем Жид. В начале же 1941 г. Жид выступает против коллаборантов и порывает из-за этого с целым рядом журналов. Наконец, факты говорят за себя. В 1943-м г. американские войска, занявшие Тунис, нашли тощего и небритого старика, который

прятался по трущобам после того, как в руки итальянской полиции попала часть его дневника. Гестапо искало этого старика. Это был Андре Жид. Надо думать, что дневник содержал не так уж много «прогитлеровских» записей.

После войны Жид внезапно снова оказывается в центре литературного внимания. В послевоенный хаос он вошел с неожиданным спокойствием и верой, неся свои классические идеалы, свою идею традиции и мысль о том, что мир будет спасен немногими «беспокойными». Барро поставил в Париже «Гамлета» в его переводе и его инсценировку романа Кафки «Процесс» — обе премьеры были театральными событиями Европы. Наконец, любопытство Жида к подрастающему поколению два раза приводило его на съезды немецкой молодежи, где он мало говорил, много наблюдал и слушал. Когда же все-таки начинал говорить, то учил не совсем обычным вещам: «Несмотря на полтора десятилетия высокомерия, — говорил Жид вчерашним членам Гитлер-Югенд, — не нужно впадать в ошибку: не нужно принижаться, не нужно преуменьшать своего значения — надо взглянуть на положение вещей с расстояния иронии и без самодовольства».

Нельзя не отметить и того, что в день восьмидесятилетия нашего знаменитого соотечественника И. А. Бунина Жид от имени Франции поздравил его. Писатель, которого можно назвать «совестью Франции», обратился к писателю, который лучше других защищает честь русской литературы в наше время. Мы приводим это письмо целиком.

Дорогой Иван Бунин!

В жизни я опередил Вас лишь на один год, так что мы почти одного возраста. В почестях Вы опередили меня на пятнадцать лет: в 1933 г., если не ошибаюсь, Швеция дала Вам нобелевскую премию. Во Франции такой же награды был удостоен Роже Мартен дю Гар, а потом, много лет спустя, и я. Дает ли это мне достаточно права обращаться к Вам сегодня, в день Вашего восьмидесятилетия, с братским приветом от имени Франции? Нет. К этому нужно еще добавить, что после революции, встав в оппозицию к тому, что Вам кажется нетерпимым, — Вы, русский эмигрант, избрали Францию местом своего изгнания. В особенности же ко всему этому я должен добавить мою глубокую симпатию сперва к Вашему творчеству, которым я восхищался еще до знакомства с Вами, и наконец к Вам лично, после того, как наши пути

встретились. Вы проживали тогда в Грассе, и мне не пришлось делать большой крюк, чтобы заехать туда и повидаться с Вами в гостеприимной вилле, где Вы жили в тесном окружении нескольких замляков. Я, конечно, не забыл Вашего любезного приёма; и Вы, и Ваша супруга, и другие — все старались, чтобы я не чувствовал себя чужим в той атмосфере — слегка богеминой, слегка возбужденной, но глубоко человеческой. Очень скоро я почувствовал почти полную непринужденность: окружающее вызвало к жизни остановку русских романов, с которыми я уже был тогда знаком. Вы как бы излучали всё это. Я был удивлен, когда увидел за окном виллы пейзаж Южной Франции, а не русскую степь, туман, снег и березовые рощи. Ваш внутренний мир торжествовал над внешним окружением; настоящая реальность была в нем, в этом мире. У Вас я вновь почувствовал ту силу, которая делает людей братьями, вопреки границам, социальным различиям и традициям. Вопреки даже различиям интеллектуального порядка! В течение нашей беседы мы открыли, что не согласны ни в чем, ни в чем абсолютно; это было замечательно. Наши литературные вкусы и предметы восхищения были совершенно разные, и мы расходились как в том, что мы одобряли, так и в том, что мы отрицали. Но для меня было важнее, что в Ваших речах слышалось нечто подлинное и убежденное, не было в них ничего принужденного или взятого из чужих рук, ничего фальшивого. В самом деле, было трудно найти столь полярные этику и эстетику, столь далекие друг от друга литературные небеса и преисподнюю. Но Вы сумели величественно укрепиться на своих позициях. И в этом главное: ибо в искусстве нет только одного способа быть великим. Когда же я слушаю Ваше повествование, я забываю обо всем остальном: вот оно, настоящее! Я не знаю произведений, где бы внешний мир был в более тесном соприкосновении с другим миром, внутренним; где чувство было бы таким единственно верным, а слова такими естественными и вместе с тем такими неожиданными. Вы с одинаковой легкостью идете как по миру несчастных, так и по миру счастливых, имея, впрочем, особое пристрастие к тем, кто больше других обойден судьбой. А какие неожиданные ракурсы, когда кажется будто полотно картины разрывается, и сквозь разрыв видишь безвыходное отчаяние. О, мне кажется, что в этом мы расходимся больше всего. Но тут уже дело не в том, одобрять или нет.

В одном из Ваших наиболее захватывающих рассказов («Туман») Вы говорите об

ужасной смерти бедняка, которого отец, сам еще живой от холода, заолудившись в тумане, с трудом тащит на спине сквозь неумолимую ночь. Отец рассказывает об этом служанке, и та говорит, когда он кончил: «где могу понять, как ты сам-то не помер той ночью». А рассказчик рассеянно отвечает: «некогда было этим заниматься».

дорогой Буния, Франция может гордиться тем, что Вы именно в ней провели свое изгнание. И в тумане, окружающем нас со всех сторон, пусть это изгнание не будет для Вас без озаряющих огней! Пусть в нем будет и то, что заставляет подчас улыбнуться и забыть об отчаянии. Ведь Вам некогда этим заниматься».

Андре Жид *)

Последние годы перед смертью Жид живет, как и прежде, в Париже на рю Вану. Он ведет строгий образ жизни; как всегда, много читает. Он также много пишет. Обычно в таком возрасте писатель редко мог поддерживать свой былой творческий уровень, но здесь почему-то думалось, что дальнейшие его труды также могут стать литературным событием. Теперь, подводя итог его жизни и творчеству, надо признать, что труднейшую в наше время обязанность — обязанность писателя — Жид выполнил лучше других.

Если сравнить его с другими современниками подобного масштаба — Шоу и Томасом Манном, то вывоз напрашивается сам собой. Шоу изо всех сил старался стать духовным вождем современности, но был им лишь несколько лет, да и, кроме того, в далеком прошлом. Одного блестящего интеллекта оказалось недостаточно, и его обладатель приобрел только репутацию пресыщенного остряка в мировом масштабе. Томас Манн сразу утрачивает всякую глубину, как только выходит за пределы немецкой (в лучшем случае западноевропейской) культуры. Поэтому он не смог следовать за временем. Это можно было бы простить, если бы он не пытался, тем не менее, это делать. И Шоу, и Манн позволяли злоупотреблять своим именем, и современникам ничего не оставалось, как, отдав должное их художественным достижениям, отвернуться от создателей этих достижений.

Может быть, Шоу мог бы претендовать на большую широту охвата эпохи (но только по количеству проблем, ключ к ре-

*) Текст этого письма был любезно предоставлен автору самим адресатом; мы считаем, что он заслуживает воспроизведения полностью: и сам по себе и как последняя из публикаций Жида в печати («Фигаро», понедельник, 23-го октября 1950 г.).